

Anatolij Andriejew

Личность и пустота, или эволюционные архетипы литературы

Polilog. Studia Neofilologiczne nr 2, 27-40

2012

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Anatolij Andriejew

Białoruski Uniwersytet Państwowy
Mińsk, Białoruś

ЛИЧНОСТЬ И ПУСТОТА, ИЛИ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АРХЕТИПЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Ключевые слова: *персоноцентрическая валентность, персоноцентризм, социоцентризм, элитаризм, гейм-литература, пустота, Пелевин*

1

Русская литература «золотого века», основоположником и столпом которой по праву является Пушкин Александр Сергеевич, зарождалась и формировалась как литература *аристократическая*, персоноцентрически ориентированная. Именно в период «золотого века» русская литература стала осознавать близкий ей по духу «культурный код», свое предназначение; более того, бессознательно сформировала программу своего развития, ибо сразу же нащупала свою «золотую жилу»: элитарный персоноцентризм как в высшей степени перспективный вектор культуры, который и стал решающим фактором мирового признания русской литературы.

Вспомним в этой связи только три знаковых произведения: *Горе от ума*, *Евгений Онегин* и *Герой нашего времени*.

Писателями пушкинской литературной эпохи становятся аристократы; при этом, что особенно важно, не только по своему происхождению и статусу, но и по своим культурным притязаниям, позволяющим признать их аристократами духа. «В среде Карамзина и деятелей пушкинского круга, – пишет философ И.В. Кондаков, – люди были связаны прежде всего идеалами умственного, духовного избранничества, элитарности, нравственного или философского превосходства, сознательных претензий на “высшее” в интеллектуальном, образовательном, этическом и эстетическом отношениях»¹.

Определение «элитарное» образовано от французского слова «*elite*», что означает «лучшее», «отборное», «избранное». Элитаризм – это аристократическое, гуманистическое и при этом глубоко консервативное мировоззрение, где понятие «консервативное» несет в себе значение охранения и сохранения ценностного ядра, некоего культурного абсолюта. О каком ценностном ядре идет речь?

¹ И. Кондаков, *Культурология. XX век*, т. 1, Санкт-Петербург 1998, с. 257.

Логика развития русской литературы, а также наше собственное понимание высших культурных ценностей позволяют дать следующую трактовку элитаризма. Разумеется, мы не собираемся реставрировать мировоззрение «деятели пушкинского круга»; мы делаем попытку разглядеть в аристократизме вечные ценности, и с этой целью намерены онтологически продлить аристократизм в наши, демократические дни.

Платон, первый философ-элитолог, обозначил саму суть проблемы: «...Мы считаем самым ценным для людей не спасение во имя существования, как это считает большинство, но достижение совершенства и сохранение его на всем протяжении своей жизни»². Что есть совершенство?

Платон, говоря современным языком, главным считал не *бессознательное существование*, а сознательное *достижение совершенства*, которое ценно прежде всего тем, что является продуктом сознательного отношения. Иными словами, совершенство, понимаемое как духовное совершенство, достигается на пути по *оси прогресса* от природы к культуре, от психики к сознанию, от человека к личности – это во-первых; во-вторых, основным *инструментом совершенствования* выступает разум (не интеллект!); в-третьих, *механизмом совершенствования* выступает постоянное и неусыпное – «на всем протяжении своей жизни» – сознательное разоблачение бессознательного (приспособительного) освоения жизни (с помощью интеллекта – не разума!), сознательное окультуривание бессознательных пространств души, что позволяет превращать бесплодное бездуховное в плодоносное духовное; в-четвертых, результатом осмысленного отношения становится *превращение человека в личность*, персону; в-пятых, совершенство сегодня следует понимать как противоречивый *информационный процесс*, интерпретируемый с позиций тотальной диалектики.

Разум, диалектика, личность, элита, духовный аристократизм, культура – вот звенья одной информационной парадигмы.

Разумное, культурное отношение – вот идеология элиты. Может ли такое отношение быть не консервативным?

Нет, не может, ибо консерватизм в культурном смысле выступает синонимом объективного, разумно обоснованного и – в данном контексте – истинного.

Таков культурный код, такова в свернутом виде, в виде мировоззренческих архетипов и матриц, культурная программа русской литературы «золотого века», а значит, и «серебряного века» (пусть отчасти), и любого другого века, настоящего и грядущего. Код он и есть код, нечто сущностное, присущее феномену, код невозможно изъять из художественного дискурса; его можно в той или иной степени либо активизировать, либо нейтрализовать.

Итак, главные герои классических произведений русской литературы XIX-XX вв. – персонажи с повышенной *персоноцентрической валентностью*, которые если и не противостоят народу, то так или иначе отделяют себя от народа, культивирующего в своей среде бессознательное существование, но никак не достижение совершенства. Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров (а не П.П. Кирсанов, как ни парадоксально), Обломов, Болконский, отчасти Раскольников, многие герои Чехова (Гуров из *Дамы с собачкой*, Николай Степанович из *Скудной истории*,

² Платон, *Законы*, Москва 1990, с. 158.

г. Н. из *Дома с мезонином*, «учитель словесности» Никитин, Лаптев из «маленького романа» *Три года*), бунинский Арсеньев, булгаковский Мастер; даже в народном романе *Тихий Дон* главный герой Григорий Мелехов стал главным именно потому, что его уровень персоноцентрической валентности оказался заметно выше, чем у всех остальных; даже среди героев социоцентрически ориентированной *деревенской прозы* самыми колоритными оказываются «чудики», то есть маленькие люди с высоким градусом персоноцентризма. «Маленький человек», персонаж «униженный и оскорбленный», не стал магистральным героем классической русской литературы – при всем том, что именно ему отводилась роль противовеса «лишним людям». Либо «лишний» – либо «маленький». Русская литература в своих вершинных достижениях очевидно равнялась на «лишнего». Часто отрицательными сатирическими героями становились «мертвые души» – именно потому, что они изображались с позиций мироустройства, где доминирует культ здоровой духовности, живой просвещенной души. *Мертвые души* превращались в ностальгию по душам живым.

Мировые достижения русской литературы, как представляется, связаны прежде всего с противоречивым культом *лишнего*, то есть крайне необходимого культуре персонажа. *Диалектика души* неотделима от *диалектики сознания*, а то и другое – способы существования личности, вечно лишней, с точки зрения социума.

Более того, следует сказать прямо и недвусмысленно: мировые достижения любой литературы связаны с гуманитарным законом персоноцентризма: персоноцентрическая валентность передовых литератур оказывается выше, нежели персоноцентрическая валентность породившей их эпохи. Именно разница потенциалов двух систем идеалов – гуманистических (персоноцентрических) и авторитарных (социоцентрических) – обеспечивает литературе необходимую художественную пассионарность, которая замешана на экзистенциальном веществе, а именно: воле к истине. Культурный взрыв – это всегда прорыв в сфере персоноцентризма.

И напротив: уклонение с персоноцентрического пути, ослабление персоноцентрической валентности или непонимание культурной ценности персоноцентризма – причина кризиса всех национальных литератур мира без исключения.

Очевидно, что в предлагаемой работе мы исходим из некоей аксиоматической данности: персоноцентризм является высшей культурной ценностью, культурной перспективой и вектором художественной эволюции. Обоснованием этого глубокого в своей культурной значимости тезиса мы сейчас заниматься не станем, поскольку это сделано в наших ранее опубликованных работах³.

2

В свете сказанного любопытно посмотреть на эволюцию персоноцентрической традиции в русской литературе.

Где-то с середины XIX в. в русском обществе начинает складываться другая социальная страта – разночинцы, уже не сословие, а сообщество людей, связанных определенными убеждениями и идеями, которые носили глубоко социаль-

³ А. Андреев, *Основы теории литературно-художественного творчества*, Минск 2010.

ный (не личностный!) характер. По архетипу – это реанимация архаической героики. Вот характеристика интеллигенции нового типа: «Другая интеллигенция ассоциировалась уже не с аккумуляцией всех достижений отечественной и мировой культуры, не с концентрацией национального духа и творческой энергии, а скорее с политической “кружковщиной”, с подпольной, заговорщицкой деятельностью, этическим радикализмом, тяготеющим к революционности (вплоть до террора), пропагандистской активностью и “хождением в народ”. Принадлежность к подобной интеллигенции означала уже не столько духовное избранничество и универсальность, сколько политическую целенаправленность – фанатическую одержимость социальными идеями, стремление к переустройству мира, готовность к личным жертвам во имя народного блага»⁴.

В границах новой идеологии этого нового русского сообщества начинает развиваться другая стратегическая линия русской литературы с ярко выраженной социоцентрической ориентацией. На первое место здесь начинают выходить постановка и разрешение злободневных вопросов, связанных с «существованием» – с социальным переустройством русского общества, критикой его социальных пороков. Все это подразумевало борьбу, гражданскую активность, классовую позицию. На смену духовно-аристократическому императиву «зависеть от царя, зависеть от народа... Не все ли нам равно?» пришел императив демократический: «поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». На смену философско-критическому реализму пришел реализм социально-критический. Одно дело аналитически препарировать установки косного социума с позиций личности, и совсем иное – критиковать обветшавшую идеологию с позиций иной, революционной идеологии. Личностью ты можешь и не быть, а вот гражданином стать обязан. Новое литературное движение с его ярко выраженными социальными интересами и пристрастиями противоречиво соседствовало с той русской литературой XIX века, которая по традиции ориентировалась на личность как точку отсчета в стремительно демократизирующемся мире.

Коротко говоря, персоноцентрический вектор в развитии литературы стал меняться на социоцентрический.

Однако в XX столетии, начиная с советского периода русской истории, социоцентризм становится доминирующим, ствольным направлением, превратившись, вопреки традиции золотого века, в мейнстрим, который с течением времени разделился на две главные ветви – советскую и антисоветскую (диссидентскую) литературу. И ту и другую отличала ярко выраженная идеологическая, чтобы не сказать идейно-пропагандистская, направленность: у одной она была связана с утверждением советских идей, у другой – с резкой критикой советского тоталитарного режима.

Про личность дружно забыли, ее просто похоронили и те, и другие. При этом Пушкин, который оказывался всюду лишним, формально культивировался как «наше все» и просоветски, и антисоветски настроенными деятелями литературы. Это феномен, который сам по себе заслуживает внимания. Именем какой бы культурной революции ни клялись ее адепты, они всегда бессознательно ориентируются на личность, подписывая тем самым своим антиличностным устремлениям смертный приговор.

⁴ И. Кондаков, *Культурология...*, с. 258.

Социально-идеологический код двух указанных литературных направлений, советско-антисоветского, настолько вошел в плоть и кровь русской литературы, что даже писатели, которые по роду своего творчества позиционируют себя как противников всяческой идеологии, например, писатели-постмодернисты, продолжают выстраивать свои сюжетные, лингвистические и прочие игровые ходы на том же идеологическом ресурсе, пародируя и осмеивая все советское. Только вот с каких позиций отрицается тяжеловесный социоцентризм советского образца?

Художественно-идеологическая альтернатива социоцентрическому гегемонизму была найдена в индивидуализме, который давным-давно доминировал во всем цивилизованном мире. (Массовую эрзац-литературу – то есть не литературу, при ближайшем рассмотрении, а чтиво – мы не рассматриваем как альтернативу. Построенное на сугубо коммерческих законах, чтиво освободило себя не только от просветительско-идеологических обязательств, но и от художественности как таковой, окончательно «очистив», по выражению Х. Ортеги-и-Гассета, «искусство от человеческого элемента»). Индивидуализм породил интеллектуальную гейм-литературу, которая взялась осваивать опустевшие территории милосердия, любви, «как бы» гуманизма.

Сегодня главным героем стал тот самый «маленький», ничтожный в культурном отношении человек с большими индивидуалистическими амбициями. Русская литература утратила свой элитарный характер, а вместе с ним и мировое лидерство (ибо это было прежде всего духовно-художественное, а не абстрактно-художественное, мировое лидерство), и со своими маленькими героями, едва различимыми целями и заимствованной у корифеев «литературы ни о чем», гейм-литературы, эстетической палитрой превратилась в литературное захолустье, местами постмодернистское, местами реалистическое, а местами попросту стилистически невнятное (порой рябенько-пестрое, иногда лоскутно-яркое, иногда никакое). Хоть по одному культурному параметру Россия встала в ряд приличных стран, где иметь приличную литературу считается неприличным. Стали «как все», что так раздражало мыслящих классиков «золотого века» и, соответственно, их героев – Чацкого, Онегина, Печорина...

Что отличает индивидуалистического героя от персоналистического?

Тело, душа, дух – таковы три информационные сферы, способные комбинировать новые смыслы. Телесно-душевное начало (психика) плюс начало душевно-рациональное (сознание) – таковы компоненты духовности.

Интеллект в этом информационном пространстве – слуга двух господ: он обслуживает потребности психики и в то же время стремится к превращению в разум (высшую ступень сознания). Последний шаг от природы к культуре – это шаг от психики к сознанию, от интеллекта к разуму, шаг, не улавливаемый локаторами психики, но совершенно реальный в информационном пространстве человека.

Разум в этой связи можно определить как особого рода интеллект, считающийся с логикой бессознательного, обогащающийся такой логикой и превращающийся благодаря ей в *инструмент тотальной диалектики*, в инструмент моделирования идеального смысла, который принято называть истиной.

А чем, в таком случае, отличается личность от индивида?

Коротко можно ответить так: между ними – пропасть, располагающаяся в узеньком пространстве, отделяющем разум от интеллекта. Иной тип управления информацией – и возникает пропасть.

Язык личности – разум, язык индивида – чувства. Личность – субъект разумного типа управления информацией; индивид – объект бессознательного приложения бессознательно добытой информации (и интеллект многократно усиливает воздействие бессознательного).

Я вовсе не утверждаю, что литература индивидуоцентрической направленности не явила миру высоких образцов; явила, явила, еще как явила, один Набоков чего стоит. Речь о другом. Речь о том, что у литературы такого типа нет культурной перспективы. Есть прошлое и вялотекущее настоящее, но нет будущего. Если уж о гамбургскому счету, то и такая литература питалась ресурсами персонцентризма, чем же еще. Именно так: персонцентризм был и остается скрытой составляющей индивидуоцентрической и, чего греха таить, социоцентрической литературы. Любуй литературы. В *Капитанской дочке* гораздо больше *Евгения Онегина*, нежели в *Евгении Онегине – Капитанской дочке*. В этом контексте выражение «Пушкин – это наше все» начинает обретать смысл – за исключением того пустячка, что Пушкин здесь не при чем.

Именно особый модус персонцентрической валентности позволил вольной иронической индивидуоцентрической литературе обрести оригинальный культурный статус. Сейчас мы проиллюстрируем это на конкретном примере.

3

Одно из преимуществ литературы, имеющей глубокие культурные традиции, заключается в том, что анализировать (критиковать, на демократическом языке) тенденции развития отрезка пути, называемого «современная литература», можно в широком контексте. Это позволяет, с одной стороны, видеть то, чего «как бы» нет, и, с другой стороны, не придавать слишком большого, решающего значения тому, что сегодня заслонило собой все остальное.

Этим преимуществом мы и воспользуемся.

Да, личности, ориентированной на духовную элитарность, избранность, сегодня в литературе нет. Но персонцентрическую валентность отменить невозможно. И не Пушкин, конечно, ее придумал; он воплотил то, что существует объективно. Обратим внимание: исчезла личность – и на ее месте образовалась глобальная Пустота.

Именно пустота стала знаковым явлением, знаком сегодняшней «культуры» или, если хотите, ее сакральным символом. Серьезные писатели не гнушаются на разные лады писать о пустоте, что несколько не порочит их репутацию; напротив, придает им культурного веса. О натурально-брутальной пустоте пишет Нобелевский лауреат Елинек; о милосердии, призванном хоть как-то прикрыть срамную пустоту, пишет Улицкая; травкой-муравкой пытается завуалировать отсутствие личности в романе М. Шишкин; ни о чем пишет Акунин, а также целый легион иже с ним. О чем пишет В. Сорокин? О говне? Как бы не так: это всего лишь квинтэссенция пустоты, метафора нутра человеческой жизни, которая превращается в эмоционально-психологическое вещество. О том, чего нет и в принципе быть не может, о чем сле-

дует не все, а с чувством, с толком – о высших, ну, просто Самых Высших Силах, таинственных и непостижимых, – сегодня не пишет разве что ленивый конъюнктурщик. Пустота становится культурной категорией, в которую проваливаются все. Уважающий себя человек сегодня может писать исключительно о пустоте.

Ибо: о чем же еще?

Личность, как мы уже сказали, перестала быть структурным элементом содержания, просто перестала быть, поэтому она в лучшем случае являет собой ипостась пустоты. Все множится на ноль и вследствие такой нехитрой математической манипуляции аннигилируется. Философский результат подобной операции – искомое «ничто».

Вовсе не случайно роман Виктора Пелевина *Чанаев и Пустота* стал в современной литературе одним из лучших и, что важнее, типичным благодаря своей уникальности.

С моей точки зрения, *Чанаев и Пустота* является любопытной модификацией гносеологического романа. Надо свято верить в пустоту, боготворить ее (свято место бывает, по Пелевину, именно и только пустым), чтобы с такой пассионарностью дискредитировать и аннигилировать все то, что пустотой не является или не желает ею быть. Это не «прикольный дискурс», к которому приучил нас постмодернизм, а форма серьезного отношения, своего рода «буддистская сатира» (которая, в свою очередь, является производной от героического служения пустоте как началу начал). Роман интересен тем, что, обладая невеликой культурной ценностью, он представляет собой заметную художественную ценность. Если угодно, это гениальный роман (не самый бесспорный, с моей точки зрения, комплимент, ибо гениальность бывает разного рода и уровня), который состоялся несмотря на то, что состояться, по идее, у него не было никаких шансов, ибо самоубийственной сверхзадачей романа была избрана интенция самоотрицания. Это софистическо-эвристический роман без ответов или, лучше сказать, роман, в котором вопросы являются формой ответов.

Сначала и по порядку о романе можно говорить в том случае, если адаптировать его под объективно существующий культурный космос – если соотнести его с содержанием, придать содержательность пустоте. Начать сначала в культуре – идти от общего к частному.

Сначала в романе было не слово, а некая аморфная генеральная идея или установка, настроенность мироощущения и мирозерцания на то, чтобы исполнить гимн Пустоте. Вот этот общий пафос романа и позволяет объединить все части, фрагменты, осколки и моменты в нечто целое. На самом деле, это, конечно, универсальная художественная технология, и Пелевин здесь оригинален не более, чем, скажем, Л. Толстой, у которого каждая строчка эпопеи пропитана «духом народным», или Достоевский, у которого предчувствие Бога становится вездесущим и благорастворенным «фактором наказания», или Шолохов, Набоков – словом, все великие. Закон художественности – в капле ищи свойства океана – отменить невозможно, его можно только использовать на корысть красоте.

Вот и у Пелевина каждая строчка внятно или невнятно промаркирована – пустотой, наличием отсутствия чего бы то ни было. На все лады обыгрывается противоречие, заложенное в самой природе вещей: зачем писать книгу во славу пустоты, если сама идея книги – пустая затея в контексте бесплотной вечности?

Книга, очевидно, – экзистенциальный пустячок для автора, ценностный мир которого не позволяет трактовать любую книгу как ценность, книга предназначена для идиотов-читателей, для всяких там Петек, Васек, Анок, которым иначе как через культурные символы и культурный язык не втолковать сущность пустоты – надо показать им то, чего нет. Привыкли ведь к сказочным кормам: поди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что. «Идиоты, – прошептал я, поворачиваясь к стене и чувствуя, как мне на глаза наворачиваются слезы бессильной ненависти к этому миру, – Боже мой, какие идиоты... Даже не идиоты – тени идиотов... Тени во мгле...»⁵.

И в то же время как-то элегантно по-мессиански «посвящаем созданную этим текстом заслугу благу всех живых существ», то бишь «идиотам» же⁶. «Текст» не претендует на смысл, однако он «создает заслугу». Это противоречие – тень пустоты, проецируемой на культуру, которой, увы, тоже нет в подлунном мире. Так, блики миражей.

Как бы то ни было фиксируем оппозицию: я – они, «идиоты», все. Можно было бы сказать, личность – толпа, но книга сопротивляется такой традиционной, практически пошлой постановке проблемы.

Книга (или текст: так сакральнее) становится своего рода служением пустоте, и только это оправдывает ее появление на свет (в котором она, по всем священным канонам, должна бы раствориться). Однако амбивалентность художественного языка, который воплощает громоздящиеся ряды образов, парадоксально сослужила не ту службу: путь к Пустоте, возможно, тот самый Дао, лежит через отрицание Пустоты – через смех и слезы. Тайный девиз книги, проявляющийся в каждой строчке, – не плакать, не смеяться, не понимать – ничего, нигде и никогда. И никем, само собой. Но путь к ведам, ведущим во «Внутреннюю Монголию», лежит через понимание, смех и слезы. Именно поэтому (увы Пелевину, если он честен) книга стала явлением культуры и предметом культурной аналитики.

Пожалуй, в качестве иллюстрации нашего теоретического тезиса стоит привести несколько виртуозных «теоретических» диалогов-пассажей, которые буквально составляют идейный (а также стилевой) каркас текста. Это именно то, на чем держится пустота (которая по определению ни на чем держаться не может). Вот перлы из ключевого диалога Петра Пустоты, главного героя (так и хочется сказать – субъекта) повествования, и загадочного, потому как не существовавшего нигде и никогда, «барона Юнгерна». Фантомный (как абсолютно все в романе) «барон» на правах уже «Слившегося с пустотой», точнее, ставшего этой самой «не материей» и «не субстанцией», проще сказать, самой пустотой, ведет диалог: «Просто я хочу привести пример, который вы должны хорошо понять. Представьте себе непроветренную комнату, в которую набилось ужасно много народу. И все они сидят на разных уродливых табуретах, на расшатанных стульях, каких-то узлах и вообще на чем попало. А те, кто попроворней, норовят сесть на два стула сразу или согнать кого-нибудь с места, чтобы занять его самому. Таков мир, в котором вы живете (мир, который Пустота тут же возненавидит – А.А.). И одновременно у каждого из этих людей есть свой собственный трон, огром-

⁵ В. Пелевин, *Чапаяв и Пустота*, Москва 2008, с. 345.

⁶ Там же, с. 10.

ный, сверкающий, возвышающийся над всем этим миром и над всеми другими мирами тоже. Трон поистине царский – нет ничего, что было бы не во власти того, кто на него взойдет. И, самое главное, трон абсолютно легитимный – он принадлежит любому человеку по праву. Но взойти на него почти невозможно. Поэтому что он стоит в месте, которого нет. Понимаете? Он находится нигде»⁷. Петр Пустота, разумеется, понимает. «Так почему бы вам не оказаться в “нигде” при жизни? Клянусь вам, это самое лучшее, что в ней можно сделать. Вы, наверное, любите метафоры – так вот, это то же самое, что взять и выписаться из дома умиленных»⁸. Пустота, разумеется, так и делает. И роман по образу и подобию Евангелия (да и всех вообще священных текстов) превращается в своего рода житие Того, Кто попал-таки во Внутреннюю Монголию. «Ом мани падме хум», – как сказано в предисловии⁹. Что означают сии слова – неизвестно; впрочем, это должно быть ясно и без перевода. Даже без слов.

Кстати, насчет Внутренней Монголии... Барон: «– Насчет того, куда попадает человек, которому удалось взойти на трон, находящийся нигде. Мы называем это место “Внутренней Монголией”.

– Кто это “мы”?

– Считайте, что речь идет о Чапаеве и обо мне, – сказал барон с улыбкой.

– Хотя я надеюсь, что в это “мы” со временем можно будет включить и вас.

– А где оно, это место?

– В том-то и дело, что нигде. Нельзя сказать, что оно где-то расположено в географическом смысле. Внутренняя Монголия называется так не потому, что она внутри Монголии. Она внутри того, кто видит пустоту, хотя слово “внутри” здесь совершенно не подходит. И никакая это на самом деле не Монголия, просто так говорят. Было бы глупей всего пытаться описать вам, что это такое. Поверьте мне на слово хотя бы в одном – очень стоит стремиться туда всю жизнь. И не бывает ничего лучше в жизни, чем оказаться там»¹⁰.

Автор текста ставит перед собой невыполнимую задачу – и справляется с ней на пределе беспредельных человеческих возможностей. Его герою Пустоте удастся не только описать «нигде», но и зафиксировать структуру с фактурой этого самого «нигде». Пустота: «И, когда мое тело падало на землю, я словно бы успел осознать неуловимо короткий момент возвращения назад, в обычный мир – или, поскольку осознать на самом деле было абсолютно нечего, успел понять, в чем это возвращение заключается. Не знаю, как это описать. Словно бы одну декорацию сдвинули, а другую не успели сразу установить на ее место, и целую секунду я глядел в просвет между ними. И этой секунды хватило, чтобы увидеть обман, стоявший за тем, что я всегда принимал за реальность, увидеть простое и глупое устройство вселенной, от знакомства с которым не осталось ничего, кроме растерянности, досады и некоторого стыда за себя»¹¹.

Случилось чудо: Пустота стал свидетелем того, свидетелем чего стать невозможно.

⁷ В. Пелевин, *Чапаев и Пустота...*, с. 323.

⁸ Там же, с. 324.

⁹ Там же, с. 7-10.

¹⁰ Там же, с. 337-338.

¹¹ Там же, с. 327.

Это у «идиотов» Орфей спускается в ад и возвращается оттуда невредимым; у избранных само понятие ад вызывает печальную улыбку посвященных. Чапаев, барон, Пустота и иже с ними идут иным путем и – дорогу осилит идущий – попадают-таки в иную систему координат, где царят иное устройство мира, иной хронотоп, иная система ценностей. Все предельно современное – потому что технический, пространственно-временной аспект «картины мира» («спрятанные за покровом реальности рычаги и тяги»¹²) соблазнительно диалектичен. Предлагается и технология попадания (восхождения?) раз и навсегда (при жизни, разумеется) на трон, что во Внутренней Монголии, сиречь нигде. Для этого надо найти свою «золотую удачу», «это когда *особый взлет свободной мысли* дает возможность увидеть *красоту жизни*. Я понятно выражаюсь?» – спросил Пустота. Барон оценил изумительную «отточенность формулировок»¹³. Кстати сказать, в предисловии формулировка *особый взлет свободной мысли* квалифицирована как «данное автором (неизвестным – А.А.) жанровое определение». «Редактор», якобы, это определение «опустил» как «шутку». Но реальный автор (так и хочется извиниться перед Пелевиным за подобную формулировку), как нам уже известно, с такими вещами не шутит.

Итак, перед нами не книга, не роман, и даже не текст, а, если уж на то пошло, – *особый взлет свободной мысли*. «Документ». «Психологический дневник». «Некоторая судорожность повествования объясняется тем, что целью написания этого текста было не создание “литературного произведения”, а фиксация механических циклов сознания с целью окончательного излечения от так называемой внутренней жизни». И далее: «подлинная ценность этого документа заключается в том, что он является первой в мировой культуре попыткой отразить художественными средствами древний монгольский миф о Вечном Невозвращении»¹⁴. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Сама мысль о том, что уникальный, «первый в мировой культуре» «текст» может быть воспринят как нечто художественное, как «литературное произведение», кажется автору до предела оскорбительной. «Художественные средства» – это вынужденная уступка «идиотам». «Литература, искусство – все это были суетливые мошки, летавшие над последней во вселенной охапкой сена»¹⁵. Обратим внимание: *особый взлет свободной мысли, фиксация циклов сознания* – все это технология выстраивания «внутренней жизни» личности. Существует только два языка культуры: язык мысли и язык ощущений. Ощущения оставим «идиотам»; остается мысль как единственное достойное Чапаева, барона и Пустоты (кажется, названы все избранные) средство. Однако эта «разумная» технология понадобилась именно для того, чтобы «излечиться от внутренней жизни» как от некоей самой главной хворобы человека. «Идиоты» интересуют создателя психологического дневника как условный культурный противник: что с них, чуждых свободной мысли, сидящих «на разных уродливых табуретах», возьмешь? Главный его враг, конечно, – личность, которой он пытается противопоставить пустой аристократизм, то бишь

¹² Там же, с. 334.

¹³ Там же, с. 317.

¹⁴ Там же, с. 7-8.

¹⁵ Там же, с. 443.

«свой собственный трон, огромный, сверкающий, возвышающийся над всем этим миром и над всеми другими мирами тоже».

Роман, если следовать инструкции загадочного барона, фантома, порожденно-го несуществующим автором, анализировать нет смысла, его надо «хорошо понять», то есть через примеры-аргументы почувствовать неизречаемую суть. По-пытаться проникнуть через подобие игольного ушка во Внутреннюю Монголию. Воспринять текст как инструкцию по восхождению на «трон бесконечной свободы и счастья», которого, понятно, нет, потому что он находится нигде. Кому непонятно, тот читает символы и силой своего темного сознания превращает их в социокультурные коды, превращаясь тем самым в «идиота». Что ж тут непонятного?

А если все же анализировать, помещая примитивную философию пустоты (главный аргумент которой – «глиняный пулемет», мизинец левой руки будды Анагамы, которым тот, «не тратя времени на объяснения», «проявлял истинную природу вещей», то есть превращал все вокруг в пустоту¹⁶) в контекст гуманистического космоса, то роман легко обнаруживает свою культурную пустоту. Пустота как такой невиданный тип содержания, который аннигилирует любое другое содержание, является всего лишь пустотой. Если отвлечься от «глиняного пулемета», то и говорить не о чем. В книге Пелевина человека нет – нет ни тела, ни души, ни духа. Идеал книги – бесплотность (эквивалент пустоты). Из арсенала «ну хоть что-нибудь человеческое» присутствует мироощущение, которое под воздействием интеллектуальных химикатов стремится раствориться в веществе «ничто». Безликие персонажи не испытывают эротических переживаний, они даже не пьянеют, хотя все время пьют, употребляют кокаин, галлюциногенные грибки etc. Строго говоря, они не мужчины и не женщины (характерен персонаж мужчины, которого зовут «просто Мария»). Это бесполое существа, гуманоиды, которые на разные лады мучительно пытаются сформулировать великий парадокс: почему все есть, когда нет ничего. Что, повторим, и составляет внутренний сюжет книги, ее нерв, дух и эстетику. В свете сказанного понятно, почему так страстно отрицается страстный, чувственный Бунин («трипперные чердаки Бунина», «объясненьице на уровне Ивана Бунина»¹⁷), мучающийся смыслами Достоевский (присутствует с чувством сделанная пародия на «Преступление и наказание»).

Традиционная оппозиция «натура – культура» (Эрос – Танатос, литература – философия, жизнь – смерть) подменяется бесстрастной парадигмой «Пустота – и жалкие ее проявления, в том числе личность» («бессодержательное» содержание и «содержательная» форма – содержание и форма, формула культуры, как ни крути) – в данном контексте, конечно, формой отрицания культуры. Диалоги, диалектика – как форма пустоты: это что-то новенькое в конной авиации, как шутили во времена Чапаева и Петьки.

Философское обеспечение пустоты как начала и конца всего – мнимая, пустая мудрость, которая и мудростью-то прикидывается лениво. Тут не мудрость, а фокус впечатляет: грубо, зримо – психологически и концептуально – обосновать наличие некой Внутренней Монголии, пустыни, царства пустоты. Страст-

¹⁶ Там же, с. 437.

¹⁷ Там же, с. 167.

ность и «идейный» пафос здесь неуместны; здесь функции пафоса выполняет ледяная, обжигающая ирония – ирония как стратегия тотального отрицания. А где ирония, там и игровой потенциал, позволяющий ошибочно квалифицировать текст как постмодернистский. Постмодернизм не был бы постмодернизмом, если бы он был «за пустоту», если бы он серьезно культивировал пустоту. Так или иначе, злая ирония по поводу любого проявления жизнелюбия, игра, элементы постмодернистской поэтики (в частности, плотная интертекстуальность) делают книгу современной по языку, ложно постмодернистской. Что и говорить: для неискушенного сознания гносеологический роман, отрицающий сам себя, – это культурный шок. Пелевин нашаманил – и стал культовым явлением, кумиром «идиотов». Так сказать, за что боролся, на то и напоролся.

Что это было, господа? Всего лишь гейм-литература?

Это была художественная проекция страха перед личностью. Перед тем, что пустота – это всего лишь отсутствие личности. Ностальгия по личности. Именно в этом заключена персоноцентрическая валентность книги.

Однако не стоит обольщаться по поводу уникальности «первого в мировой культуре» текста. По большому счету, роман Пелевина пополнил копилку книгофокусов, книг, завораживающих пустотой содержания (я писал об этом, в частности, в работе *Магия таланта, или Разгадка Сирина (Nabokov?... Сирин?... Набоков)*¹⁸). Тут интересно другое: почему сегодня так востребованы подобные книги мыслящей интеллигенцией?

Несмотря на пренебрежение аристократов духа Набокова и Пелевина к Фрейдю и Юнгу соответственно, без психоаналитиков в этой ситуации не обойтись. Сегодня именно пустота становится навязчивым проявлением апокалиптического мироощущения, одной из форм отрицания ценностей цивилизации – и в таком своем качестве иронический текст Пелевина обнаруживает конструктивный культурный потенциал, ибо многое в сегодняшнем мире, в эпоху цивилизации, действительно достойно отрицания. Пустота – всего лишь ипостась Танатоса: есть и такой модус иронии в универсуме, с которым шутки плохи. Успех книги во многом предопределен наличием того, чего нет, а именно – коллективного бессознательного, в недрах которого бушует разочарование всем и вся, любыми социальными идеалами и стереотипами. Перестроечная книга пытается реализовать модель перестройки сознания одного героя (и, потенциально, всех, абсолютно всех читателей). Однако самая сильная сторона книги – та, которая представляется автору просто развлекательной. Что ж, гносеологический роман – серьезное культурное достижение, и он не прощает слишком вольного обращения с реальностью. Ты отрицаешь реальность – реальность отрицает тебя. Если с высоты пустоты игнорировать неуместные жизненно важные вопросы, то рискуешь сам превратиться в символ «пустого отрицания».

Я думаю, что подобного рода «тексты» по-своему весьма обогащают вечно тонкий культурный слой, культурную почву. Уже факт того, что язык может быть приспособлен под передачу самых невероятных, фантомных ощущений, должен внушать оптимизм. В этом контексте служение пустоте превращается в служение культурному слову, которому подвластны любые полутона, любая

¹⁸ А. Андреев, *Основы теории...*, с. 176-199.

нюансировка при трансформации мироощущения в мировоззрение. Эта художественная технология (образец оригинального стиля) – вклад в копилку культуры, можно сказать – подготовка культурного прорыва. По идеям – это хмурое средневековье, по стилю – двадцать первый век. И «технология» эта только и могла реализоваться на дрожжах допотопных идей.

Вот и получается: не стоит недооценивать культурной значимости химер. *Чапаяв и Пустота*, несомненно, – новое слово. В рамках шага назад (с позиций культуры) писатель делает много мелких шажков вперед (с позиций литературно-творческих). Делает, что может.

Мне думается, великая литература должна время от времени позволять себе такие «пустячки» – чтобы держать себя не только в духовно-экзистенциальном, но и в эстетическом тону. А ведь в рамках гносеологического романа эти тону сы однажды неизбежно сольются. Гейм-литература как предтеча гносеологического дискурса: чем не перспектива?

Более того: чем не формула персонцентризма?

И сольются два в одном, и это будет взрыв, который породит новую духовно-художественную вселенную. В соответствии с законами универсума.

4

Итак, если личности можно противопоставить только пустоту, это означает: личности в принципе нечего противопоставить.

Или личность – или пустота.

В современной литературе подспудно пульсирует вытесненная в бессознательное, отравленная идеологическими ядами мысль-заря – дайте Личность, подарите смутно присутствующий в культурной памяти «взлет свободной мысли»! Но только подспудно, обертонами, вокруг да около. И, что характерно: не с позиций личности, а с далеких от личности индивидоцентрических позиций раздастся самый сильный художественный голос: взыскую личность. Чем дальше от личности – тем больше ощущается потребность в ней.

«Пушкин – это наше все» давно уже следует понимать не как оговорку тоталитарно устроенного сознания, не как вызов свободному, потому как безответственно мыслящему, наполненному пустотой индивиду (и, соответственно, не как повод для набившего оскомину стеба), а – как момент культурного дискурса «личность – это наше все». Если угодно, как лозунг диктатуры культуры – феномена глубоко консервативного и глубоко диалектического, озабоченного вечными ценностями, и потому вечно противостоящего, с одной стороны, поверхностной социальности (в облике героическом угрожающей личности с глубоко моральных, фундаменталистских позиций), а с другой – индивидоцентрической пустоте (излюбленная маска которой – ирония, уничтожающая личность вседозволенно-стью безнравственности и запрещающая только одно: мыслить).

Так стыдливо, через заросшие травой-муравой пни-колоды мифов, которыми заторено пространство пустоты, русская литература тянется к своим истокам.

И в данном случае правильно делает – потому что это путь в будущее.

Summary

A person and the emptiness, or evolutionary archetypes in literature

Initiated and approved by Alexander Pushkin, Russian literature of the “Golden Age” has been arising and forming as *aristocratic* and therefore elite and focused on personality (i.e. personalitycentric). Personalitycentric ideology stood to be the Russian literature’s cultural code that assumes the priority of the origin of thinking person over social unconsciousness. The protagonist of such literature is a “alienated person” (Chatsky, Onegin, Pechorin) who is a character of high level *personalitycentric valence*.

During the 19th century the Russian literature has changed its focus from Personalitycentrism to Sociocentrism therefore having changing its protagonist to a “little man”, “humiliated and insulted”. He has become the leading but not the main character, though acting in contrast to “alienated persons”. Obviously, in its vertex achievements the Russian literature coincided to “alienated”. Starting from the Soviet period of Russian history in the 20th century Sociocentrism has become the dominating main tendency and opposed to the traditions of the “Golden Age” turned to be a mainstream that afterwards has split into two main branches: the soviet and the antisoviet (dissident) literature. Dissident literature has been cultivating Individocentrism in oppose to Sociocentrism. Individocentrism initiated an intellectual game-literature. Today the Russian literature has lost its elitist features and its world leadership at once. *Emptiness* that was treated as a genetically determined nostalgia for the Personalitycentrism has become its cross-cutting character image. This fact is justified by the analysis of the novel *Chapaev and Emptiness* by Pelevin.

The key thesis of the article is as follows: the global achievements of any literature (here it is about the Russian literature) are strictly related to a humanitarian law of the Personalitycentrism: the personalitycentric valence of the front-rank literatures is higher than the personalitycentric valence of the epoch they have been arising from.

Key words: *the personalitycentric valence, Personalitycentrism, Sociocentrism, Elitism, game-literature, emptiness, Pelevin*